

Шел бой в земле — его конец
Терялся во Вселенной...

Юрий Кузнецов

Надо отдать должное литературной и общественной мысли начала семидесятых годов прошлого века, когда Юрий Кузнецов (1941–2003) входил в литературу. Сразу же, изначально было замечено не только его своеобразие, но отмечено, что это поэт, несущий нечто такое, чего до него в русской литературе XX века не было. В принципе, было дано точное его определение: это *не бытовое, а бытийное* постижение жизни. В том числе и Великой Отечественной войны. В его поэзии было замечено, прежде всего, духовное постижение жизни, а не только ее социальное и историческое значение: «Снова небесная битва/ отразилась на русской земле». Как писал поэт уже позже: «Битвы земные чреватые небесной войной». Другое дело, что в обществе, в котором преобладали позитивистские, материалистические, атеистические воззрения, духовный смысл поэзии Юрия Кузнецова, брань духовная, воплощенная в его стихах, не получила, да, видимо, и не могла получить должного объяснения. Да и как могло это случиться, если *духовное* нередко, а то и зачастую понимается не иначе, как «церковное». Как нечто нереальное, а то и «суеверное» или «потустороннее» в негативном смысле, к чему должно относиться настороженно...

Я полагал, что в названии первой посерстной книги Юрия Кузнецова, составленной самим поэтом, допущена досадная небрежность: вместо «Крестный путь» — «Крестный ход». Но оказалось, что это принципиальная позиция издателей. То есть вместо духовного подвига — просто церковный обряд... Поминаю этот, хорошо известный факт потому, что слишком уж он симптоматичен и символичен, когда высокое духовное понимается лишь как служебное. Впрочем, как это уже было у революционных демократов XIX века.

Если у нас в серии ЖЗЛ выходит книга «Иисус», если Спаситель проходит в нашем сознании лишь как «замечательный человек», то это ни о чем не говорит, кроме как об абсолютном непонимании и нечувствовании святости. Ведь таким подходом искажается суть святости — не Богочеловек, а Человекобог. То есть люди снова ведут себя как боги, несмотря на все трагические последствия этого. Снова предпринимают Вавилонское строительство, проявляемое в каждую эпоху в разных формах. Все это к тому, в какой среде заявил о себе Юрий Кузнецов как поэт большой духовной мощи.

Он вошел в литературу как-то сразу, без всякого ученичества. Видимо, потому, что его поэтический мир отличается поразительной цельностью. Причем, без всяких внешних признаков преднамеренной оригинальности, что было в поэзии этого периода в моде. Точно отмечал Станислав Куняев, что «объем знаний о мире был ему дан сразу...» («И бездны мрачной на краю...», М., «Голос-Пресс, 2015). Такое редкое своеобразие мы наблюдаем разве только в творчестве М. Лермонтова.

Такое стремительное и даже бурное вхождение Юрия Кузнецова в литературу имело свою принципиальную особенность. Он не отвергал предшествующего в литературе, не свергал кумиров, не сотрясал основ. Да, он говорил, что поэзия погрязла в быте, но не свергал этого, как ему «мешающего». Это было совсем не то, что мы наблюдали в «шестидесятничестве», как XIX века, так и XX, когда сам протест, сам бунт уже почитался величиной положительной и драгоценной. Вне зависимости от того, куда и зачем он направлен, имел причины или нет.

Совсем иначе все обстояло в творческой судьбе Юрия Кузнецова. Он просто утверждал свой мир. И даже те его стихи, в которых поначалу была усмотрена гордыня, бунт и вызов, со временем получили объяснение. Скажем, эти, в свое время зацитированные: «Звать меня Кузнецов. Я один / Остальные обман и подделка». Уяснилось, что это вовсе и не гордыня, а скорее поэтическая традиция: «Един есть Бог, един Державин». Или — в стихах Б. Пастернака: «Я слежу за разворотом действий / И играю в них во всех пяти. / Я один. Повсюду фарисейство. / Жизнь прожить, не поле перейти». Он говорил о духовной природе человека и божеском устройении мира. Но уклонение в обществе от таких представлений было столь сильным, что выражаемое им воспринималось как вызов, как нечто не вполне реальное, «виртуальное», «потустороннее», а то и «суеверное».

Вместе с тем он возвращал и поэзию к ее исконному и истинному предназначению, полагая, как и великие предшественники его, что искусство вечно, как душа человека. В отличие от позитивистских воззрений, считавших, что каждая эпоха порождает свое искусство, всецело обусловленное преходящими, а не вечными представлениями. Совершенно прав Владимир Личутин, говоривший о том, что «в двадцатом веке Юрий Кузнецов, пожалуй, единственный, кто вернулся к мироучтованию родоначальников русской поэзии» («Взгляд», Краснодар литературный, 2008). Но именно это погрязшему в позитивизме и материализме обществу было непонятным, казалось чем-то архаичным, необязательным и лишним.

Вот причина его несогласия с преобладавшими представлениями: поэзия уклонилась от своей природы и от предназначения своего. Поэт всего лишь и говорил о том, что и в обществе, и в поэзии нарушена иерархия ценностей. И что необ-



Юрий Поликарпович Кузнецов

ходимо вернуться к извечным представлениям о мире и человеке, которые оказались заслоненными «случайными чертами». Но это, такое естественное намерение не на шутку перепугало критиков как «позитивистского», так и «прогрессистского» толка. Об этом поэт сам говорил на страницах «Независимой газеты» в беседе с Геннадием Красниковым: «А напугал я потому, что тогда иерархия ценностей была поставлена с ног на голову. Это тогда. А сейчас вообще никакой такой иерархии нет в помине, или делается вид, что ее нет. Сплошь подмена» (27.10.1998). Чрезвычайно важна эта оговорка поэта, «или *делается вид*», что иерархии ценностей нет. То есть — иерархия не упраздняется по чьему бы то ни было произволу, но она рукотворно искажается и за нее надо бороться.

Но в поэзии Ю. Кузнецова был увиден «модернизм» лишь на том основании, что модернизм по природе своей разрушает обыденную реальность и традицию. Была увидена преемственность с революционной романтикой 20-х

30-х годов, то есть с «романтикой» людоедства (Т. Глушкова). Был увиден «тип сознания, сформированный модернистской эпохой» (К. Анкудинов), каким-то образом усмотрен «латентный», сокрытый «постмодернизм» (Н. Переяслов). Это однозначно свидетельствовало о том, что у преобладающей критики не оказалось инструментария для оценки творений духовных, так как предлагаемые понятия имеют всецело социальную природу. По сути, преобладающая критика оказалась не в состоянии постичь поэзию Юрия Кузнецова.

О том, как корчилась в муках наша общественная и литературная мысль, пытаясь дать хоть какую-то оценку явлению Юрия Кузнецова, свидетельствует статья Ларисы Васильевой: «Парадоксы Юрия Кузнецова», опубликованной в «Литературной России» еще в 1987 году (23 января) и перепечатанной во № 2 «Нашим современником» в 2006 году. Но теперь уже совершенно очевидно, что это были «парадоксы» не Кузнецова, а нашей скособоченной общественной мысли. По недоброй «традиции», она называла его «поэтом-модернистом», «абстракционистом» и «авангардистом», сравнивая его с Сальвадором Дали. А как же иначе? Разве могла на тот момент «передовая» мысль обойтись без этого? Не могла, иначе она и «передовой» не признавалась бы. Вместе с тем она признавала за Ю. Кузнецовым великое явление: «Сквозь века и времена залетело богатырское семя в двадцатый век, выросло в душе поэта». Однако, по ее же мнению, все это для реальной жизни общества, народа, страны — просто *нелепость*... И вот почему: «Но нелепость такого богатыря очевидна, подвиг его обречен на заведомое одиночество в мире современных коллективов, поэтому ему ничего не остается делать, как выразить именно нелепость своего появления!». Значит, явилось богатырство, столь драгоценное и необходимое для благонамеренного жития, но оно нам не нужно, оно — «нелепо». Это почему же? Что должно утверждаться *вместо* него? Все самое ничтожное, ибо таков «дух времени»? Но если так, то тогда мы ведем речь вовсе не о поэте, а о самих себе, когда «можно» не только не отвергать низкое и постыдное, но даже бахвалиться им. В таком случае поэт здесь ни при чем.

Я намеревался было выделить в творчестве Юрия Кузнецова собственно военную тему. Но оказалось, что чисто тематический подход к его поэзии невозмо-

жен. Несмотря на то, что о войне он писал изначально. Ведь стихотворение «Со страны начинаюсь, с войны начинаюсь» открывает уже его первый сборник «Гроза» (Краснодарское книжное издательство, 1966). Его стихи о войне не являются только его человеческим долгом. Они не отличаются по глубине от других стихов. Ведь не случайно поэт входит в общественное сознание этими стихами — такими разными по содержанию и сходными по сути: «Возвращение» и «Атомная сказка». Если первое стихотворение было признано новым словом нового поколения о войне, то второе можно назвать новым словом в русской поэзии вообще. Его уже ранние стихи о войне, об армейской службе отличаются той же глубиной и необычностью мысли, свойственной всему его творчеству:

Я обживаю третий год окоп,
Вон выцвели погоны на шинели!
Мне жизнь морщины нанесла на лоб
Глубокие, как смотровые щели.
Но я не сплю, я на посту стою
В застегнутой на все крючки шинели
Стихи пишу —
 как будто бы смотрю
На мир сквозь строчек смотровые щели.

«Морщины», «смотровые щели», «поэтические строчки» — как синонимы. Совмещение, казалось бы, несовместимого, непривычный взгляд на вещи, хорошо известные, новые смыслы в давно известном. Собственно это и вызывало претензии к его стихам. От него ждали быта, а он выражал бытие. И война представляла в его поэзии не в обыденном смысле, но во вселенском: «Шел бой в земле — его конец терялся во Вселенной...»; «Память ничего не объясняет. / Вечный бой гремит и там, и тут»; «Ты сражался с невидимым злом, / Что стоит между миром и Богом». То есть поэт постигал духовный смысл человеческого бытия и духовную, а не только социальную природу человека. Поэт пытался постичь Божеское устройство мира. И в этом он был абсолютно последовательным во весь свой творческий путь. Но этот аспект человеческого бытия — веры и Бога оказался для него самым трудным, как для человека, выросшего в атеистической среде. Но логика его размышлений абсолютно закономерно приводит его к поэмам о Христе. То, что поэт обратился к Священному Писанию, не было исключением, но обыкновением для всей русской поэзии. Не говоря уже о XIX веке, об А. Пушкине, М. Лермонтове, Ф. Тютчеве, А. Блоке, это было необходимостью и неизбежностью, уже начиная со «Слова о полку Игореве». Глубокий исследователь библейских текстов Е.А. Авдеенко в своих книгах «Тема «Каин» в современном мире» и «Враги Давида и враги мессии», вышедших в издательстве «Классис» в 2014 году, совершенно справедливо писал, что «возможно смотреть на события современной истории при помощи категорий Священного Писания... Возможно богословское зрение современности». Да, собственно это является первейшей необходимостью, если мы постигаем духовный смысл нашей истории и жизни, а не только их внешние проявления.

Иными словами, не только обращение русских поэтов к Священному Писанию, но постижение своей современности через библейские образы всегда было обыкновением. В том числе и в русской литературе XX века, в советский период истории.

Но безрелигиозное сознание усмотрело в творчестве поэта «заигрывание со злом», мрачную метафизику, заподозрило его в «рискованных связях с силами тьмы», увидело «потусторонность». Но главная претензия к поэту и его творениям состояла в том, что он давал добру равные права со злом, что «Бог с дьяволом у него на равных правят миром, как две вечные силы». Эта претензия поэту особен-

но примечательна, так как за ней угадывается довольно специфическое представление о мироустройстве вообще и о природе человека. Согласно этому представлению о зле и добре, Бог и дьявол имеют в мире не равные права лишь потому, что мы убеждены: Бог — это хорошо, хотя, как известно, Он приносит не мир, а меч, а дьявол — это плохо. На самом же деле каждый человек в равной мере находится под их сенью и влиянием, ибо с рождения у него за плечами — ангел и сатана. Об этом Юрий Кузнецов пишет в поэме «Путь Христа»: «С правой руки Дух Святой, его ангел-хранитель. / С левой руки дух лукавый, его искуситель». Борьба между ними и составляет содержание земной человеческой жизни, брани духовной. И пока человек живет, еще неизвестно, кто одолеет: «Живу на одной половине с судьбой без последней страницы». У А. Блока: «Над нами сумрак неминучий иль ясность Божьего лица». Сам Юрий Кузнецов, точно понимая это извечное соотношение, восклицал: «Сатаны нет? Да он в каждом из нас и во мне».

Но в нашем обществе получило преобладание иное, искаженное представление позитивистского толка, согласно которому зло не вечно в этом мире. И рано или поздно, когда-нибудь добро обязательно одолеет зло. И тогда наступит... Что наступит тогда, неизвестно. Но добро обязательно победит зло. Но мир устроен иначе, не согласно такой упрощенной схеме. Зло неистребимо в этом мире.

Да что там, сам Господь не только оставляет Каина, но и защищает его, накладывая на него знамение, печать. Соотношение добра со злом и есть содержание человеческой жизни, ибо нет более важного события в человеческой жизни, кроме как утрата веры и обретение ее. Все остальное — производное от этого. Это и было во все времена, если можно так сказать, причиной и предметом поэзии. Всегда, в том числе и сейчас. Приведу в подтверждение хотя бы стихотворение Якова Полонского:

Я ль первый отойду из мира в вечность — ты ли,
Предупредив меня, уйдешь за грань могил,
Поведать небесам страстей земные были,
Невероятные в стране бесплотных сил!
Мы оба поразим своим рассказом небо
Об этой злой земле, где брат мой просит хлеба,
Где золото к вражде — к безумию ведет,
Где ложь всем явная наивно лицемерит,
Где робкое добро себе пощады ждет,
А правда так страшна, что сердце ей не верит,
Где — ненависть — я боролся и страдал,
Где ты — любя — томилась и страдала,
Но —
Ты скажи, что я не проклинал,
А я скажу, что ты благословляла.

Извечный вопрос о соотношении веры и поэзии. И его земной аспект — о соотношении Церкви и литературы. Вера не отменяет поэзию. Скорее наоборот, является непременным и неизбежным условием ее существования. Другое дело — земная Церковь и литература. Но прежде надо припомнить предание о происхождении искусства вообще. Принято считать, что когда люди стали утрачивать способность слышать ангельское пение, они и придумали искусство, заменитель этого пения, эрзац. Отсюда, мол, и отрицание Церковью искусства, а литературы и поэзии в особенности. Сам Юрий Кузнецов подозревал или знал об этом, так как писал: «Естественно предположить, что первыми певцами были ангелы».

Но такое происхождение искусства неточно. Когда люди стали утрачивать способность слышать ангельское пение и утрачивать свою связь с Богом, тогда и появились наиболее чуткие из них, сохранившие в себе эту способность — поэты, которые стали *напоминать людям о Боге* («Веленью Божию, О Муза, будь по-

слушна». А.С. Пушкин). Так появилось два вида *искуства*: с Богом и — без Бога. Но начетчики, не различая этого, стали отрицать все искусство, как якобы свидетельствующее об отпадении от Бога. Этим объясняется та конфронтация Церкви и литературы, которая существует искони и до сего дня. Несмотря на то, что положение понятное, суть которого состоит в том, что религиозные представления и поэтические — это разные сферы сознания, никак не заменяющие друг друга. Это хорошо понимали поэты вплоть до наших позитивистских времен. Ап. Григорьев пишет А.Н. Майкову 11 декабря 1857 года: «Я хотел сказать только, что религия и искусство — две вещи разные... Высший голос спрашивает нас вовсе не о том, что мы сделали для человечества как художники, критики, лекаря и пр., а как мы установили в себе центр своего малого мира, т.е. как мы слили этот малый мир с великим миром...» То есть, с Божеским миром. Вот задача, стоящая перед каждым истинным поэтом: как слить, соединить свой малый мир, свой краткий земной путь с миром вечным?..

И тут мы сталкиваемся, пожалуй, с главной несообразностью нашего времени, которая особенно проявилась в обсуждении поэзии Юрия Кузнецова, точнее, в неспособности ее постичь и объяснить. Его редкий дар соотносить явления современной жизни с представлениями христианского мировоззрения был расценен как заигрывание с темными силами, как «отрицательная творческая энергия». И поскольку вся современная литература якобы «давно утратила традиционное религиозное самосознание», надо оставить ее и обратиться к «другой литературе», духовной, то есть богословской, созданной великими отцами Православной Церкви. Художественная литература должна быть заменена духовной, то есть богословской. Именно такое соотношение литературы и веры представлял в свое время Валерий Хатюшин в статье «Во имя истины» («Российский писатель» № 18 октябрь 2003). Во имя, разумеется, возвращения к Богу и к вере. Но такое представление не является истиной, вовсе не является путем к Богу, ни с точки зрения литературной, ни с точки зрения Священного Писания. Если поэзию, этот дар Божий, можно оставить во имя Бога, то это вовсе путь не к Нему, а скорее наоборот — отпадение от Него... Ведь из Священного Писания хорошо известно, когда люди утрачивают образное мышление и когда уничтожается поэзия. При Вавилонском строительстве, являющемся вечной мировой деятельностью, которая, изменяя формы, присутствует в человеческой жизни всегда. Современные же, вроде бы, литераторы и поэты, критики Юрия Кузнецова почему-то полагают, что отречение от поэзии является верным признаком на пути к Богу...

Всем своим творчеством Юрий Кузнецов противостоял такому губительному упрощению. Его последние стихи «Поэт и монах», представляющие собой диалог, свидетельствуют об этом. Это, по сути, завещание нам, написанное поэтом за два дня до кончины. («Завтра», № 47, 2003, «Наш современник» № 1, 2004).

Вера человека, тем более его природная вера, то есть дедов и отцов, по определению, не может входить в противоречие, в конфликт с его творчеством, вне зависимости от того, какое это творчество — поэтическое или научное. Скорее, она является неперемнным условием творчества. А если такое противоречие все-таки происходит, как у нас в России в середине XIX века, не в литературе даже, а в окололитературной публицистике, то это никак нельзя считать нормальным и естественным. Оно чревато, как мы теперь уже знаем, грандиозными потрясениями общества и страны. А потому мне не интересны бунтари и низвергатели, упрощенные по своей природе. Гораздо интереснее тип человека, органически сочетающего в себе веру и творчество. Такие, как ученый-физиолог академик И.П. Павлов, хирург и святитель Лука Войно-Ясенецкий. Наш современник и мой ровесник Валентин Катаонов, человек точных знаний, финансист, знающий всю неприглядную изнанку этого мира и вместе с тем — глубокий мыслитель, отнюдь не

отрицающий духовную природу человека. Безусловно, к этому редкому типу людей относится и Юрий Кузнецов.

Как видим, критики отвергают не постижение Юрием Кузнецовым духовных истин, но отвергают сами эти истины. Похоже, сами того не ведая. Хотя декларируют вроде бы защиту истин от поэта.

Складывается впечатление, что ниспровергатели поэм о Христе Юрия Кузнецова только и были заняты всю жизнь постижением Священного Писания для того, чтобы теперь защитить его «чистоту» от поэта. Вчера только открывшие Евангелие, когда это стало велено... Но являют то, что сами находятся вне духовных понятий и представлений. Но что удивительно, и вне литературной традиции. Слово во всей русской литературе ничего не было написано о соотношении божественного и поэтического. И стоит лишь поражаться тому, как мог пятнадцатилетний М. Лермонтов выразить в стихотворении «Молитва» («Не обвиняй меня, Всесильный...») то, что и до сих пор не вошло в наше общественное сознание.

Земная Церковь всегда находилась и находится в определенной мере конфронтации с литературой, поэзией. Но на чем основано убеждение в том, что во имя Бога и веры надо оставить художество и вместо него обратиться к духовной, то есть богословской литературе? Смею утверждать, что основано оно на недоразумении, а точнее — на недостаточно глубоком постижении Священного Писания. На этом основано и наше нынешнее возвращение к вере, которое трудно назвать таковым, так как коллективных возвращений к вере, как и коллективных покаяний не бывает. Скорее, это блуждание вокруг Православной Церкви. Основано это на упрощенном представлении о том, что когда народ отпадает от Бога, когда мир утопает во зле, якобы непорочной остается земная Церковь, которая стоит незыблемо. На самом деле это не так, ибо когда народ отпадает от Бога, то отпадают *все* — и князья, и цари, и пророки, и священники, господствующие при посредстве их. Тогда и появляются пророки, которых Господь не посылал. В книге пророка Иеремии: «Они, цари их, князья их, и священники их, и пророки их» (2; 26), «Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника — все действуют ложно» (6; 13). «Иzumительное и ужасное совершается на сей земле: Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого?» (5; 31).

А потому нет ничего хорошего в том, что писатели, бросив свое трудное, бесприютное дело, бросились в храмы, став воцерковленными до неприличия. Это свидетельствует об одном: и писательство не было для них смыслом жизни, а скорее способом существования, и веру они понимают недостаточно глубоко. Свидетельствует, в общем-то, об интеллектуальном срыве. Нет ничего хорошего и в том, что, скажем, учреждается Патриаршая премия *по литературе*. Не богословская, а именно литературная. И самое поразительное состоит в том, что не нашлось ни одного литератора, который честно и смело сказал бы об этом, хотя бы словами русского царя Ивана IV: «Не подобает священникам творить царские дела». То есть мирские дела. Это не нужно ни Церкви, ни этим «демам»... Ведь у Церкви самой много таких проблем, которые остаются невнятными и которые имеют только богословское разрешение. Скажем, истинно верующие не находят ответа на вопрос о том, почему к 1000-летию Крещения Руси канонизирован Максим Грек, осужденный двумя церковными соборами за еретическую правку богословских книг. То ли правка была не еретической, то ли отменены решения Соборов? И возможна ли такая отмена? Это обстоятельно изложено выдающимся историком нашего времени Игорем Яковлевичем Фрояновым в монографии «Драма русской истории» (М., издательский дом «Парад», 2007).

Да и первая страница русской святости требует объяснения. Почему канонизированы Борис и Глеб, а брат их, князь Древланский Святослав, так же безвинно убиенный, не канонизирован? Верующие задаются этими вопросами в светских изданиях, а богословы, Церковь этого не замечает, занятая, видимо, художественной, светской литературой, заниматься которой ей никак не следует... Я уж не говорю о других фактах, которые прямо-таки вопиют не о прошлой, а о нашей нынешней жизни... Я попытался изложить это в работе «У церковной ограды», опубликованной в моем авторском альманахе «Соленая Подкова» (М., «Алекс», 2010). Рассмотреть факты, уже не богословские и не литературные, а напрямую касающиеся нынешнего состояния народа и государственного устройства.

Остановлюсь для примера только на одном образе Юрия Кузнецова в стихотворении «Завещание»: «В тени от облака мне вырыйте могилу...». В «Золотой горе»: «В тени от облака нашел тяжелую плиту». Даже слово «ничего», то ли загадка, то ли притча «В тени от облака живет». Что это за облако? Оно означает признак присутствия Бога. После Потопа, увидев настоящую жертву Ему, Бог сказал: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышления сердца человеческого — зло от юности его» (Бытие 8; 21). Но поставлю завет — раду в облаке: «Я полагаю раду в облаке, чтобы она была знамением завета между Мною и между землею» (Бытие 9; 13).

Облако связано также с тайной Ковчега Завета, который указывал путь сынам Израилевым. Не дорогу — куда идти, но путь — как жить; «Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось» (Исход 40; 36). То есть облако — это знак присутствия Бога. И это не такая уж редкость в русской поэзии. У Владимира Соколова: «Зачем ты нужна мне, ночная / Тропинка в тени облаков». И это вовсе не заимствование, а свидетельство того, что поэты находились в едином духовном поле.

Должен и обязан особо подчеркнуть, что я говорю о тех духовных представлениях, проявившихся и в поэзии Юрия Кузнецова, которые присутствуют в нашей жизни всегда, во все времена, не устаревая. Наше же обыденное безрелигиозное позитивистское сознание полагает, что это все является лишь достоянием прошлого. Непростительная наивность и ничем не извинительное упрощение жизни человеческой...

Юрий Кузнецов — это прежде всего мысль. Мысль глубокая, сообщающая новые смыслы вроде бы хорошо известному, возвращающая нас к исконным представлениям, к духовной природе человека: «Рассекает пустыни и выси серебристая трещина мысли»; «О древние смыслы! О тайные знаки!» Это «какая-то сверхмысль», — писал Сергей Небольсин. И в этом значении Кузнецов действительно «присутствует в русской поэзии как-то особо, ни на что и ни на кого не похоже...» (Вячеслав Лютый). Но мысль его столь необычна, с такой неожиданной стороны подсвечивает нашу жизнь, что это не то, что нельзя понять, в это трудно и страшно поверить:

От вечной книги дым валит,
В ней выгорали строки.
Мир покосился, но стоит...
Еще не вышли строки.

Или это в поэме «Четыреста»:

Летели мимо поезда
И окнами смеялись.
Шла жизнь, но люди, как вода
В графине не менялись.

И позже: «К перемене погоды заняла рука, а душа — к перемене народа...» Эту стремительную «перемену народа» мы наблюдаем сегодня. И, кажется, нет никакой силы, которая могла бы остановить это адское действие, исход которого пока не вполне ясен...

Это был некий мощный интеллектуальный всплеск, словно предвидевший нынешний интеллектуальный провал нашего общества. Вместе с тем, он указал путь спасения в этом покосившемся мире — не через новые, а по сути, старые социальные теории, лишь слегка припудренные, а через возвращение к духовной природе человека. И теперь «на руинах великих идей» мы продолжаем жить под знаком Юрия Кузнецова.

«Русский зигзаг» в мире Кузнецова — это вместе с тем мировой зигзаг в пошатнувшемся мире. Мы ведь не можем теперь не задаться вопросом: а не является ли история с эпохи Возрождения неким зигзагом, который исчерпал себя, и начинается какое-то новое положение человека в мире.

Все три Рима — вот мое богатство!
Вот мое святое божество!
А свобода, равенство и братство —
Призраки и больше ничего.

Заметим — «Все три Рима», а не только Третий Рим...

Валентин Катасонов говорит, что теперь Священное Писание читаешь как газету, настолько оно близко и объясняет время. В частности, говорит о конце Вавилона. В нашем нынешнем случае — это духовная, долларовая и мировоззренческая экспансия, что будет он низвергнут не постепенно, как казалось, а мгновенно, «в один день» и «в один час», как об этом сказано в «Откровении святого Иоанна Богослова: «И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его» (18; 21).

Но для этого должен отыскаться «один сильный Ангел»... Как в «предсказании» М. Лермонтова: «В тот день явится мощный человек», «И будет все ужасно, мрачно в нем»...

Что же тогда значит вся эта «виллизация», в которой мы жили, что значат тогда все те «учения», которые считались «передовыми», и которые, казалось, должны были предсказать, что и как будет, если все это уже давно предсказано в «Откровении»?..

С наследием больших поэтов происходит со временем нечто удивительное. Когда горел собор Парижской Богоматери в наше время, 15 апреля 2019 года, разве можно было не вспомнить стихотворение Юрия Кузнецова, написанное за сорок лет до этого: «Для того, кто по-прежнему молод, / Я во сне напоил лошадей. Мы поскачем — во Францию-город / На руины великих идей». Я попытался осмыслить это пророчество Юрия Кузнецова в статье «На руинах великих идей», которую можно посмотреть на электронном ресурсе «Литературной газеты» (4 января 2020) и в книге «Трагические судьбы русских писателей» (М., «Звонница-МГ» 2020).

Казалось, какая-то и вовсе фантазмагория в стихотворении 1984 года вдруг обобщается непостижимым, страшным пророчеством:

Птица по небу летает.
Поперек хвоста мертвец.
Что увидит, то сметает.
Звать ее: всему конец.
...Над страной пролетела,
Повела одним крылом —
И страны как не бывало
Ни в грядущем, ни в былом.

Это «ночная птица»: «Когда кричит ночная птица, / Забытым ужасом полна, — / Душа откликнуться боится, / Она желает быть одна». А «всему конец» угадывается в роковом «все равно», которое было хорошо известно, всеохватывающим накануне революционного крушения страны начала XX века. О нем в поэме А. Блока «Возмездие»:

То роковое *все равно*,
Которое подготавливает,
Чреду событий мировых
Лишь тем одним, что не мешает.

Вот, оказывается, каким поразительным свойством обладает русская поэзия. Всегда, во все времена, если, конечно, это действительно поэзия. Таким свойством она обладала и во второй половине XX века. И нам еще не раз придется вернуться к ней, постигая ее тайные смыслы, постигая свою жизнь.

Произошло, казалось, немыслимое и невозможное. «И страны как не бывало...»
Произошло без веских на то причин. Произошло потому, что не оказалось достаточной крепости духа и ума у большинства современников для того, чтобы постичь то, как устроен этот прекрасный и ужасный мир... Юрий Кузнецов оказался на этом трудном пути один из немногих, если не один... Ведь такого решительного возврата к исконным человеческим представлениям, как у него, в этот период нашей истории, во второй половине XX века, кажется, ни у кого не было. Да он и сам это понимал, бережно исполняя свою миссию: «Задача всего моего творчества — вернуть русской поэзии первичность, которую она утратила в XX веке». И теперь, ввиду происшедшего в нашей жизни и не происходящего в литературе, становится ясно, что эта самооценка нисколько не завышена. Так все и есть. Но очевидно и то, что эту его миссию в нашей народной и государственной судьбе мы еще не вполне осознаем.

